

Сергей Аверинцев

Верность здравомыслию

Никита Струве. Православие и культура. М. “Христианское издательство”.
1992. 337 стр.

"О книге, открываемой предисловием ••-' Н. Поздняковой, собраны статьи Н. А. Струве, публиковавшиеся в “Вестнике Российского Христианского Студенческого Движения” (позднее — “Вестнике Российского Христианского Движения”);

самая ранняя из них датирована 1957, самые поздние — 1991 годом. Особые разделы в книге отданы передовым статьям и некрологам; затем идут статьи на церковные, на литературные темы — и особо выделены статьи, посвященные спорам о Солженицыне. Очень полезны примечания, восстанавливающие контекст каждой статьи — как журнальный, так и более широкий, исторический. Они помогут ориентироваться читателю, встречающемуся с означенными материалами в первый раз. Да простит меня такой читатель: при всем желании, при всей натуге воображения я не смогу ни на миг взглянуть на книгу его глазами.

Этот голос так вошел в каждодневную жизнь моего поколения, моих сверстников и единоверцев, сиречь родившихся лет через двадцать после Октября сынов Церкви из отечественной интеллигенции, как входит только домашнее, чуть ли не семейное. Нам нелегко было уразуметь, как много он для нас значил, настолько мы к нему привыкли. Наше согласие с ним почти обходилось без эмоций, ибо само собою разумелось; а когда и появлялось несогласие по тому или иному частному поводу, это было домашнее несогласие — как в семье, то есть внутри большого согласия, на котором семья и держится. ,

Голос был с нами и говорил вопреки географии, изнутри нашего бытия. Тридцать лет с лишком — из года в год, из десятилетия в десятилетие — голос откликался на то, что было общей нашей жизнью с рубежа 50-х и 60-х и поныне. От писем о. Николая Эшлимана и о. Глеба Якунина в ноябре — декабре 1965 года — до нынешних, после-перестроечных споров о Церкви. От кончины Ахматовой — до убийства о. Александра Меня. От появления “Архипелага ГУЛАГ” и высылки Солженицына за границу — до августовских дней 1991 года. Веха за вехой: парижские безумства 1968 года, появление Американской автокефалии, уход из жизни о. Александра Шмемана. Тысячелетие Крещения Руси, перемены в Москве, неожиданная смерть А. Д. Сахарова... Иногда тому или иному номеру “Вестника” случалось дойти в брежнев-скую Москву до того или иного из нас, иногда нет, — но мы уже знали, что наши горести и надежды разделены, что наши события идут под аккомпанемент этого комментария, отзывчивого и здравомыслен-

ного, как хор в античной трагедии.

Только такой аккомпанемент и преображает то, что могло бы быть просто предвкушением Ада, “скучищей неприличнейшей”, в трагедию, в историю. В Аду нет трагедии, нет истории, потому что там не может быть ни здравомыслия, ни отзывчивости. Великий Дант погрешил противу реализма: какой уж это Ад, если Паоло и Франческа, Улисс, Фарината и прочие получают один за другим шанс излить свою

лущу и быть выслушанными? Предвкушение Ада, не дантовского, а самого настоящего, мои соотечественники сполна пережили раньше, в те десятилетия, когда “железный занавес” был до того плотным, что никакого вскрика отсюда никто и нигде не услышит, а если даже чудом услышит и сочувственно отзовется, уж до нас-то его сочувствие ни за что не дойдет. В сем и состоит существо Ада, как со знанием дела разъяснял в свое время собеседник Адриана Лсверкюпа (а также оруэл-ловский О'Брайсн в последней беседе с Уинстоном).

Мы можем оценить, что нам давало изо дня в день присутствие этой отзывчивости, этой здравомысленности. В отличие от младшего поколения нам есть с чем сравнивать. Я отлично помню времена моего детства, то быть позднесталинские, когда старорежимные интеллигенты, ничуть не расположенные, боже упаси, верить пропаганде, а порой, как мой отец (некогда доброволец в Трансваале, студент в Гей-дельберге, сотрудник биологической станции под Неаполем), успевшие сами толком повидать мир до рокового 1914 года, все же рассуждали о загранице и о живущих там русских людях страшно отвлеченно, гада-тельно, неуверенно: то ли они вправду видели эту самую заграницу. Да и уехавших туда собратьев — как тот же отец мой, скажем, историка М. И. Ростовцева, своего собеседника летом 1917 года, в следующем году покинувшего пределы России, — то ли им это примерещилось? То ли виденное ими все еще где-то существует, то ли за годы, представляющиеся чуть не астрономическими световыми годами, куда-то делось либо подверглось какой-нибудь немислимой мутации? Где-то ведб были “движенцы”, наши соотечественники, создавшие то самое Русское студенческое христианское движение, по имени которого вплоть до 1974 года назывался “Вестник”;

а мы оставались их болью — кровной, конечно, но такой далекой, недостижимой, неосязаемой. География (“геополитика”) прикинулась онтологией: одни русские люди, не говоря уже о том, что просто — люди, стали для других “тем светом”. И когда времена исподволь менялись, когда “железный занавес”, продолжая красоваться на своем месте, начал испытывать процессы частичной дематериализации, подобные тем, какие описаны в заключительном абзаце набоковского “Приглашения на казнь”, — еще нужна была кропотливая работа, направленная на внутреннее, духовное преодоление разрывов в историческом времени и геополитическом пространстве. Журнал должен был измениться, не изменяя себе; отказаться от ус

таревшего названия, соблюдая верность лучшему, что было выработано энтузиазмом “движенцев”. Еще до горбачевской поры, упреждая все внешние перемены, журнал фактически уже был не “эмигрант-ским”, а

просто русским журналом; но именно для адекватного соответствия этому своему назначению он должен был в меру сохранять “движенские” традиции. Другие журналы, возникавшие заново, не были связаны долгом перед традициями; “Вестник” — был. Не будем сравнивать, что плодотворнее, а тем паче — что “интереснее”, у каждого свои вкусы; но работать внутри традиции — иной сюжет, чем начинать на пустом месте.

Да ведь и сама по себе фамилия Струве слишком много значит в истории русской культуры, чтобы носитель ее мог позволить себе при осмыслении нового — подчас ошеломляюще нового — опыта уйти от долга перед традицией, перед понятиями и правилами, воспринятыми по праву наследства. Чересчур неожиданные оценки не для него. Злоязычный противник имеет случай попрекнуть его за некоторую предсказуемость его реакций на события. Но это входит в условия выполнения задачи — держать постоянно находящуюся под угрозой связь поколений, связь времен. В настоящий момент такая позиция неизбежно вызывает растущее раздражение. Порой даже сердитое недоумение; она для многих не просто неприемлема, а к тому же и непонятна. Но для того, кто ее избрал, нет пути назад. Можно только пожелать ему — максимальной последовательности.

Редко встречается нынче не только верность наследственному преданию, но и постоянство взглядов в рамках одной-единственной жизни. Происшедший на наших глазах переход номенклатуры на антикоммунистические позиции — лишь самый массовый, самый тривиальный, но отнюдь не единственный случай легкости, с которой меняются позиции. Легкость эта сплошь да рядом свидетельствует вовсе не о корыстном ренегатстве, а о зле более тонком: об отсутствии корней. Для современного человека с руки любые крутые перемены, ибо у него утрачено чувство присяги. И поэтому уже сама по себе внутренняя спаянность статей, разделенных во времени, скажем, четвертью века, — для нашей поры поучительный пример. Подлинное постоянство

Это не помешало одному московскому литературоведу предложить в одном альманахе:

считать впредь Н. А. Струве — иностранцем “Стрювом”. Случись это нынче, я, пожалуй, любопытствовал бы спросить у коллеги, что его побудило к такому решительному заявлению. Но в те времена спрашивать не хотелось.

возможно лишь для того, кто знает свое место в мире, помнит свою присягу, имеет корни. В самой несогласии с таким человеком мы обязаны уважать связность его образа мыслей.

Возможно, больше всего споров вызовет остро заявленная эkkлeзиологическая позиция автора. Отметим, что она также весьма традиционна, поскольку укоренена в истории “парижского” русского Православия;

может быть, об этом нелишне напомнить нашему читателю, не всегда знающему эту историю достаточно отчетливо.

Определенные проблемы связаны с соотношением — на уровне идей и на отличном от него уровне эмпирии — обоих понятий, поименованных в заглавии книги. Волей исключительных обстоятельств в том кругу, в

котором изначально сформировалось мировоззрение автора. Православие было перенасыщено культурой, а культура была перенасыщена Православием. Иные, но по-своему также исключительные обстоятельства сблизили в сознании, а паче того

— в воображении подсоветской интеллигенции гонимую веру и гонимую культуру по признаку их общей несовместимости с господствующей идеологией, придали образам замученных поэтов черты христианских мучеников...

...Все это может показаться Смешным и устарелым нам, , Но, право, может только хам

Над русской жизнью издеваться, —

как Давно сказал Блок. Афоризм, кинутый некогда Мандельштамом на правах парадокса: “теперь всякий культурный человек

— христианин”, — воспринимался в коммуникационной зоне, возникшей между “Вестником РХД” и его “здешними” читателями, едва ли не как простой трюизм.

Едва изменились обстоятельства, не могла не наступить бурная реакция. Против уклона к сакрализации культуры, как и следовало ожидать, ополчились и ревнители чистоты Православия, и ревнители автономизма культуры. В призывах поменьше принимать желаемое за действительное, вообще говоря, прозвучало немало правды; если бы только они, эти призывы, не оказывались чересчур созвучны модному азарту п рекламирования всего и вся! Как бы то ни было, для верующего носителя культуры, связанного двойным, хотя и неравновесным обязательством, задача синтеза не снимается оттого, что она оказалась куда более трудной, нежели могло мерещиться еще вчера. Поэтому я не могу не согласиться с протестом автора против проектов “развоплощения” христианства:

“Развоплощенная религия не опасна, — писал Н. А. Струве в 1977 году, — она уже не “мал квас”, который все тесто квасит,

Не “соль земли”, без которой пресен вкус жизни”. Одна из лучших, наиболее точных по смыслу и выполнению статей посвящена проблеме гражданского поведения христианина: “Какими средствами бороться за Церковь?” Из нее даже трудно выбрать цитату — пришлось бы переписывать ее чуть не подряд...

Возражать в частностях автору порой легко, слишком легко. Назовем в качестве примера предложение уже сейчас официально причислить к лику православных святых Франциска Ассизского, чей образ “православным... особенно близок”. Кому не придет на ум, что Умбрийский бедняк, каким бы ни было его неоспоримое величие в истории католической духовности, лишь совсем недавно — после трудов Сабатье на Западе, после выхода перевода “Цветочков” у нас •— стал любимцем не католической интеллигенции, именно интеллигенции, по своему вкусу выделяющей его среди его собратьев, между тем как за пределами интеллигентского круга его имя в православных странах просто неведомо Вызывает сомнение перечисление

признаков, по которым франциск признается особенно близким — не Православию как вселенской вероучительной и духовной истине, но “православным”, то есть носителям специфической этнокультурной традиции: и “космическое восприятие мира во Христе” окрашено у Франциска западным лиризмом, и его “юрродство” заслужило ему прозвание “скомороха Господня”, непредставимое для восточной набожности. Действительно, с самого Франциска и первых францисканцев начинается характерно западное допущение в проповедь — смеха. О. Павел Флоренский был по-своему логичен, относясь именно к Франциску с особенной резкостью. Важнее, однако, другое. По одному все еще авторитетному для многих православных мнению, высказывавшемуся такими людьми, как св. Игнатий Брянчанинов, о католической святости, вообще о святости вне конфессиональных границ Православия, абсолютно недопустимо говорить. Но если полнота Церкви нашей отложит это мнение и присоединится ко мнению, скажем, св. Димитрия Ростовского, без малого три века назад учившего о Кларе Ассизской как примере добродетели, возникнет вопрос не об одном Франциске. Франциск-то заслужил, чтобы мы говорили о нем отдельно. Но совместимо ли с его волей — получить прославление обособленно от собратий?

Сказать можно немало. Но я понимаю боль, породившую вроде бы даже наивное предложение Никиты Алексеевича, — и это согласие в чувстве, в мотиве важнее, чем вербальное расхождение...

Сергей АВЕРИНЦЕВ.